

ПРАВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ: МЕЖДУ ДОПУСТИМЫМ И ВОЗМОЖНЫМ

*I know that it is fashion to say that most of recorded history is lies anyway. I am willing to believe that history is for the most part inaccurate and biased, but what is peculiar to our own age is the abandonment of the idea that history **could** be truthfully writte.*

George Orwell

Looking Back on the Spanish War // The Penguin Essays of George Orwell, 1994. P. 224.

«Я знаю, сегодня модно говорить, что в основном письменная история, так или иначе, лжива. Я готов поверить, что история по большей части неточна и искажена, но что и отличает нашу эпоху, так это отказ от идеи, что история может быть достоверно написана».

Джордж Оруэлл

Нравы никогда не получали высокой оценки со времен Платона, утянув с собой в нарицательные сетования практически всю традицию интеллектуального морализма, вплоть до наших дней. И даже мужественная попытка Э. Дюркгейма опереться на «Никомахову этику» Аристотеля с целью оправдания знания о морали в качестве позитивной науки нравственности, не меняет необратимого роста недоверия к нравам как таковым. Современный социологический морализм в целом довольствуется представлениями о фактической деградации общественных нравов, распространяемых СМИ. И все-таки нравы – не только особый род социальных (моральных/аморальных) фактов, но и действующий ресурс социального изменения. При этом интеллектуальный морализм представляет собой ничто иное, как максимально рафинированное «позиционирование» нравов.

Судьбы нравов и морализма вполне сходны в социологическом познании, в его обращенности к нравственности как базисному феномену социальной регуляции и носителю ключевых образцов в истории культуры.

Нравственность представляет собой социальный институт, мораль в ее явленности. Это мораль, притягивающая к себе нравы (типические состояния сознания, выражающие его включенность в повседневность) и манеры (внешняя устойчивость и приобретаемая регулярность публичного и частного поведения индивидов), с одной стороны, и мировоззрения (философия, религия, идеология и т. д.), с другой стороны. Мораль общечеловечна, «нравственности» воплощаются в целостных образах жизни.

Сравнение разных словарных определений близких по корневому значению терминов – «морализирование», «морализм», «моральные науки» – позволяет в каждом из них выявить тот или иной аспект интуитивного образа морализма, содержащегося в социологической аргументации – хотя «моралистика» понимается проще, как литературное воплощение морализма.

Опыт эмпирических исследований морали достаточно разноплановый и междисциплинарный. Многочисленные версии истории нравов, их фактологическая реконструкция в социальной истории, уникальный (в положительном и отрицательном смысле) опыт советской этики – все это уместно и востребовано в проблемном поле измерений социальной регуляции поведения, оказавшейся в авангарде применения качественных методов исследования. Так возникает перспектива востребованности знания социологии морали в сферах управления и образования.

Дискурс социологии морали, последовательно использующий один и тот же, хотя и достаточно пестрый, набор методологических и исследовательских приоритетов, всегда реализует иерархический выбор уровня построения, что порождает многоликие «ипостаси» социологического морализма. Все, что направлено на понимание морали, так или иначе задействует вышеуказанные сюжетные вариации. Горизонты постижения морали получают иерархичность в зависимости от ситуации исследования. Собственно, в ней и возникает выбор стратегии.

Поведение – граница социальных и несоциальных фактов в человеке. Выражаясь языком Т. Парсонса, это организм, подсистема адаптации внутри социальной системы в целом и на «нижних» границах выживания. Функциональная парадигма поведения предельно проста, фактически можно представить бихевиоризм и этическую автономию в качестве двух крайних случаев выведения из общего идеального типа, очерченного теорией действия.

Человеческая регуляция не является элементарно сложной или абсолютно простой, в смысле непостижимости. Социология – это поиск между крайностями излишнего обобщения и журналистскими описаниями случайно встреченных подробностей.

Познание жизненного мира человека в европейской культурной традиции также связано с теориями общественных нравов, восходящими к платонизму. Этическая традиция, трактующая мораль в качестве идеализированного объекта, детерминирована чувственно ослабленным платонизмом кантианских построений. Культура, представляющая царство невидимых целей, и личность, составляющая источник свободного произвола и исполнения моральной максимы, вполне вынесены за пределы человеческой ситуации. Исследования реальных социальных объектов, так или иначе, испытывают напряжение взаимоотношений культуры и личности. Религия в пределах только разума, абсолютизирующая эту поляризацию, не содержит возможности объяснения современной неклассической ситуации человека. Социальное пространство, измеримое в неклассической метафизике нравов, связано горизонтами жизненных миров посредством речевых актов и символических интерактов. Вся повседневность

пронизана именованиями, где любая характеристика – лишь подобие классической редукции объясняемого явления.

Строгий мир догматических принципов, научных аргументов, этических команд всегда рядоположен реальной борьбе жизненных энергий страха, восхищения, боли, радости, тревоги, успокоения и т. д. Любой диагноз индивидуальности в эпоху постмодерна не содержит надежды на исцеление. Слишком недостаточные научные знания о сущности организма и машины играют здесь против человека. При этом анимализм в образах социального организма или сверхчеловека, человекобога – всегда ослабленные версии механицизма. Невроз во всех отношениях можно трактовать как слабую прелюдию шизофрении, реально отчужденного психического отношения к бытию, но в неврозе больше игры, иллюзий и надежд для здравого смысла, не довольствующегося собой.

Не только социальная теория здравого смысла невозможна на уровне здравого смысла, как удачно заметил Э. Гидденс, но и здравый смысл как таковой постоянно перенасыщен установками самоискушения, выхода из себя. Современность «после современности» парадоксально выражает иной, не востребованный традиционной метафизикой потенциал религии. Культура и личность здесь не вынесены за скобки жизненного мира человека, а напротив, связаны горизонтами веры как нахождения смысла «до смысла». Социальное не исчерпывает границ религиозного.

Идолы массовой культуры для собственной многочисленности нуждаются в оригинальных, новаторских, креативных «первичных» фигурах, задающих ритм бесконечной повторяемости стилистических приемов. Цитирования и переносы фрагментов, не взирая на принципы осмысленности, целостности, очерчивают механику простых переключений векторов потребительских предпочтений.

Сегодня уместно и реально возможно лишь продумывание формы, но не явления, а также способов ее деконструкции. Речь все больше идет не о вещах, а о событиях, происшествиях с предсказуемым набором лиц, масок, но с непредсказуемыми правилами, временем отсчета и окончания игры. Тотальность здравого смысла, публично вытеснившая его устойчивость в сферу ограниченных частных употреблений, создает ситуацию мифотворчества «после мифа».

Мода и право стали более чем соизмеримы. Более того, мода публичного мнения предпринимает «знаковые» политические процессы и публичные судебные разбирательства. Возникают разные проекции легитимности. Позитивное право и религия достаточно успешно сосуществовали в традиционных обществах, порождая разные формальные сочетания характера и границ социальной легитимности.

Между тем фактические индивиды, живущие в современных обществах, вынуждены различать и более-менее успешно различают вариации нормативных стратегий, социальных легитимностей, гетерогенных образов жизни. Эти вариации сосуществуют и в то же время не освобождают личность от ситуации выбора, но сама возможность выбора приобрела полимодальный характер. Это не эклектика поверхностного социального плюрализма, а своеобразная логика

постмодерна, устанавливающаяся во взаимодействии и сосуществовании легитимно децентрализованных, гетерогенных социальных институтов.

Собирательные ресурсы, схватывающие единство осязаемых и неосязаемых аспектов культуры, ее явных и имплицитных циклов, демонстративных и латентных потребностей публики в той или иной ориентации, последовательно регистрируются в языке. Тотальность посттоталитарных образов жизни накладывает на эти процессы печать неустойчивого равновесия. Внимание постмодерна к деталям и случайным особенностям техник записи, инструментариям социальной памяти подразумевает глубокую интуицию расчета на непропорционально большие последствия щепетильно осторожного психолингвистического анализа. Деконструкция вплетена в метафизику повседневных практик. Горизонты «разборки и сборки» стремятся поглотить и более высокие слои генерации языка, роднящие мышление и поэтику с религиозной верой.

Взгляд Ю. Хабермаса на технологию как человеческое дело, призывание к механическому обузданию органических сил доминирования, значительно терпимее к человечеству, чем провозглашенное в постмодерне преодоление дихотомий. Тонкая грань отделяет содержательное оправдание человека, отмеченное почти неизбежными диалектическими парадоксами, от передразнивания диалектики и ее языка, ее грамматических изысков во вкрадчивых рефлексиях письма.

Актуальный социологический морализм существенно дополняет этическую традицию, открывает перспективу феноменологии нравственно значимых мотивов поведения людей.

С. В. Ольховикова

СОЦИАЛЬНАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО МИФА

В основе классических объяснений социальной жизни миф оставался в контексте исторического пути понимания духом самого себя. Бурные трансформации XX в. вызвали к жизни устойчивые смысловые различия социальных парадигм и порождаемых на их основе теоретических моделей общественной жизни. Век XXI оказался на перепутье формальных нагромождений века минувшего и энтузиазма преследования информационных реалий цивилизованной жизни.

Миф – это очень архаичная, но в то же время бессмертная форма творческой фантазии человечества. Мифотворчество прошло сложный многовековой путь от наивных архаичных схем устройства мира и космоса к нынешним весьма усложненным мифологическим формам, реализуемым в искусстве, науке, литературе, политике, повседневности. И в древности, и в современности миф отличается от других продуктов творчества своей неявностью, неочевидностью, скрытостью. Смысл мифа носит замаскированный характер, как для слушателя, так и для самого мифотворца.

Научное исследование мифа, однако, невозможно без ответа на вопрос: почему миф сохраняется? Что делает его универсальным, вечным механизмом творческой фантазии? Миф – это жизнь, но он находится в неоднозначных от-